

Пауль Наторп

О немецком призвании

Все мы, переживающие эту войну, сознаем, что совершается нечто несопоставимое ни с чем, что имело место прежде, а возможно, и в будущие времена не найдет себе ничего равного. Огромные размеры сражающихся людских масс, неслыханное упорство и выдержка в ежечасно возобновляемых тяжких боях, страшно усовершенствованная техника разрушения, оргии уничтожения жизни и жизненных благ, превышающие всякое воображение перспективы выигрышей и потерь, непредсказуемые последствия для дальнейшего расклада судеб народов — всего этого, как ни будь оно чудовищно, еще недостаточно, чтобы определить совершающийся пред нашими очами всемирно-исторический феномен в его сокровенной сути. Все это только внешняя сторона; всем этим объясняются только различия в степени, пусть даже очень большие. Существенное отличие этой войны от всех прочих мы усматриваем, скорее, в том, что здесь *душа* целого великого народа борется за свое существование или несуществование. Этим обусловлено чудовищное вложение внутренней, душевной энергии, по отношению к чему все частное — как физические усилия, так и усилия духа и воли — является только следствием. <...> И драгоценнейшую из всех жертв совершает, с таким расточительством, любовь: жена жертвует мужа, невеста — возлюбленного, мать — сына; все приносят всё, что они имеют, на жертвенный костер, подобного какому еще не вздымалось в небеса. Объединенные *одним* осознанием, *одним* ощущением, *одной* волей стоят вокруг алтаря те, кто еще вчера жарко спорили между собой, кто, казалось бы, стремились в противоположные стороны. <...> Мы победим или умрем. Оттого что мы знаем: на этот раз дело идет о всем нашем бытии, нерасчленимом, телесно-душевном, — или о небытии. Такую борьбу еще не суждено было претерпеть ни одному народу и, может быть, не придется претерпеть в грядущем; мы ощущаем все это как жертвенное деяние, которое должно быть свершено раз и навсегда, не для одного только нашего народа, но для человечества.

Поэтому не удивительно, что другие с полным непониманием взирают на наши действия и могут истолковать их себе лишь как чистейшее безумие непостижимого для них желания сражаться, либо как проявление тупой покорности народа, привыкшего к рабству и повинующегося мрачной воле тирана, который обуян манией цезаризма и сотнями тысяч посылает их на смерть. Как ни горько и ни печально такое непонимание того, что для нас является самым святым, это непонимание понятно и даже извинимо. Разве сами мы понимаем то, что с нами происходит? В самом деле, только безумие или великая любовь жертвует всем, жертвует себя без остатка. Речь идет именно о такой жертве, и по крайней мере мы сами, мы, приносящие эту жертву, знаем, что это не безумие, — а стало быть, это великая любовь. Но кто способен понять это, если у него нет опыта такой любви? В конце концов, у других ведь вообще нет того, что мы зовем «душою», и, может быть, они вообще еще не познали это высочайшее из всего, что есть на свете? Разве было для нас само собой разумеющимся, что мы это узнали? Ведь и мы, как нация, лишь сегодня познаем это во всей глубине действительного значения!

Так что же является предметом этой великой любви? Ради чего мы сражаемся? Не ради чего-то уже бывшего, не ради чего-то такого, чему есть название и чего мы хотели бы добиться; речь идет не о том, чтобы утвердить нечто уже существующее или только продолжить, преумножить, завершить уже начатое; речь идет о совершенно новом, что хочет становления. Мы сами хотим стать. Стать чем? Стать нами самими — только как нам это назвать? Стать немцами. Слово, которое для нас, конечно, звучит высоко и исполнено величайшего чувства. Но что говорит оно, для начала, нам самим, а потом и другим?

Дело идет о *призвании* немца. Призвание — это чрезвычайно точное слово. Но кто же *зовет* нас, и какой пророк истолкует нам этот призыв? Ведь все мы его слышим; мощно пробуждая, коснулся он нашего слуха; но этот призыв был слишком мощным и новым, чтобы мы сумели сразу же выразить его смысл простыми словами. Глубокомысленнейшая философия, вдохновеннейшая поэзия едва решаются истолковать этот призыв и сделать общим достоянием то, что внятно в душе каждому отдельному. Только сам народ в состоянии истолковать призыв, потому что предназначен он был все-таки народу, не отдельным людям. Призываемым он мог быть только к тому, что уже заключалось в его душе, уже стремилось выйти на свет. Стало быть, в конечном итоге, то, к чему зовет этот голос, должно быть чем-то совсем простым, в своей простоте понятным простейшему уму. Иначе как мог бы этот призыв быть единодушно услышан всеми, как был бы он способен из каждого сделать героя? А значит, нет другого пути узнать, что хочет сказать этот зов, кроме как положить руку на пульс нашего сражающегося народа и спросить: ради чего ты сражаешься столь героически, жертвуешь без раздумий всем, что у тебя есть и что есть ты сам?

И он ответит нам, с лицом исполненным покоя и бодрости, идущих от сокровеннейшего осознания: мы не желаем добиться ничего иного кроме нашего *мира* [Frieden]. Однако мира в *свободе*. Потому что мы хотим быть свободными. Мы охотно готовы каждый день заново завоевывать свободу и жизнь — для нас это одно и то же^[1], — лишь бы ни от кого не брать их на условиях аренды, будь даже ангелами небесными те, кто хотят нам их принести.

<...> Но содержание этого простого требования: мир в свободе, свобода в мире [Frieden in Freiheit, Freiheit in Frieden] сначала нужно прояснить; оно не лежит на поверхности.

Наш народ хочет мира; но не одного только и не обязательно внешнего мира. <...> Он очень хорошо знает: будь он даже навечно вынужден стоять вооруженным до зубов, всякий час быть готовым к борьбе, он был бы на все это готов при условии, что он только таким образом сможет сохранить свое своеобразие, свое самобытное творчество. Предчувствует он, пожалуй, и то, что мир [Frieden], во внешнем смысле, пока вообще не является осуществимой целью. Ведь сегодня почти весь мир [Welt] против нас. Если мы на этот раз сумеем утвердиться — это будет чудо; но тем яростнее будут нас ненавидеть, тем решительнее придется нам каждый миг быть готовыми к тому, что наши враги, вооружась еще сильнее, опять нападут на нас. Миром, во внешнем смысле, это состояние не было бы. Но если мы даже будем побеждены... Этого мы и представить себе не можем, но только одно мы знаем уже наверное: тогда нам тем более нельзя будет выпускать оружие из рук. Если учитывать тот расклад, в каком народы сегодня находятся по

отношению друг к другу, *жить* означает для народов *бороться*, по крайней мере, всякий час быть готовыми к борьбе.

И все же не лжет тот внутренний голос, что возвещает нам прочный мир в качестве венца победы. Дело заключается в том, чтобы создать новую *возможность* для мирного существования, заложить основы нового, мирного *настроения*. В этом сегодня заключается вопрос судьбы не только для нас, но и для всего человечества: доведется ли нам испытать это на деле или останется пустым сном то, что сегодня, впервые за всю историю, целый великий, внутренне и внешне сильный народ действительно хочет мира, действительно хочет свободы — мира не только для себя одного, свободы не только для себя одного (состоящей в том, чтобы поработать других), но вообще *мира*, вообще *свободы*. И это ведь не две цели, которые хорошо и гармонично сочетаются или, пожалуй, взаимно обуславливают одна другую; нет, это в конечном итоге одна цель: свобода каждого, которая существует вместе со свободой каждого другого — это и ничто иное значило бы на деле *мир*. Но это может получить твердое основание только в сильной и всеобщей, не только инстинктивной, но и сознательной *воле к делу* и *воле к организации*; безусловной решимости стоять один за всех, все за одного и, исходя из духа такой общности, быть готовыми жертвовать; жертвовать не только вещи, чтобы заполучить вещи, но и полностью отдавать себя самого ради одного, общего дела, которое не является моим или твоим, а является *делом всех*. Эту высокую способность, на которой единственно и может основываться народ, государство, а стало быть, и народ как совокупность народов, государство как совокупность государств, — именно ее и являет сегодня в каждом своем деянии, всякий день и час наш народ, причем являет с такой силой, с какой ни один народ ее еще не являл. Конечно, это смелая, но не несбыточная мысль; во всяком случае, независимо от того, сбыточна она или несбыточна, это единственно мыслимый способ, каким народы Земли могут быть спасены из их сегодняшнего ада: в ходе нашей сегодняшней борьбы мы даем пример того, на что способна решительная, глубоко обоснованная воля к миру и свободе; наш пример должен пробудить, «высвободить» ту же самую волю во всех других, чтобы они боролись вместе с нами, пока не будет достигнут мир, подлинный мир и свобода — не для одних только нас и тех немногих, кто уже сейчас хочет идти вместе с нами, а для всех, для человечества. <...>

Конечно, было бы большой дерзостью утверждать, что у нас абсолютно всё свидетельствует о наличии этой чистой воли к делу [Sachwille; точнее: воли к вещи (в ее существе), воли к сути дела. — Г. П.], а у других — ровно ничего. Однако сейчас, когда дело дошло до самых жестоких испытаний, мы яснее, чем когда-либо прежде, ощущаем существенную разницу. Мы можем ясно доказать, что почти во всех наших установлениях, во всей нашей социальной жизни выражена сравнительно бóльшая степень этой простой воли к делу. Но именно потому, что для нас это является чем-то само собой разумеющимся, мы и у других не отрицаем определенной степени обладания этой высочайшей добродетелью, которая, собственно, уже включает в себе все прочее. Скорее даже так: наша вера в человечество основывается на той предпосылке, что это свойство точно так же, как в нас самих, должно присутствовать и в других, по крайней мере — как задаток. Только таким образом мы можем верить и надеяться, что однажды мир исцелится при помощи нашей немецкой сущности. Эта «немецкая сущность» [das «deutsche Wesen»] — не что иное, как то, что мы, немцы, считаем сущностью человека,

считаем «божественным» в нем. Мы ведь всегда ищем этого и у других, мы часто верим, что находим это и у них, даже там, где этого вовсе нет или оно присутствует лишь в слабом намеке. Именно в этом и коренится то понимание других, которое в столь сильной степени присуще нам и которое столь сильно выделяет нас на фоне абсолютного отсутствия понимания и, мягко говоря, отсутствия симпатии по отношению к нам у других народов. <...>

Исключительно на этом и основывается наша вера, наша уверенность, что мы сможем не только утвердить себя, пусть даже вопреки целому свету, но и одержим верх. Некоторые видели тут «внутренний империализм». Выражение неудачное, потому что то, к чему мы стремимся, это вовсе не империя. Но то, что мы на деле доказываем: мы внутренне, душевно сильнее противников; то, что мирно покоряющая сила нашего душевного существа способна оказать влияние на другие народы, — эту веру мы не позволим у нас отнять. И почему ее надо было бы у нас отнимать? Она ведь никому ничего не может принести кроме добра, и только дурные могут ощущать это как угрозу. Но вот если бы в нас самих одержал верх *внешний империализм* (который нам внутренне чужд и против которого возмущается все наше существо), тогда мы бы перестали быть нами самими, быть немцами. Если бы мы благодаря этому одержали верх, то победу торжествовала бы вовсе не немецкая сущность, — это значило бы всего-навсего, что сместился центр тяжести интернационального капитализма; разница была бы не больше того, чем если бы царизм стал расширять свое мировое господство из Царьграда, а не из Петербурга.

Но вряд ли стоит опасаться того, что мы одержим верх на этом пути. Если бы мы, паче чаяния, выстояли в сегодняшней войне народов, если бы нам удалось сразить многоглавую гидру наших врагов, это привело бы только к тому, что побежденные еще решительнее и единокласснее поднялись бы снова в недалеком будущем, чтобы сбросить иго немецкого мирового господства — точно так, как мы сейчас надеемся освободить себя и весь мир от русско-английского мирового господства. Игра пошла бы все та же, только с иным распределением ролей: то, что сейчас является нашей моральной силой, стало бы силой наших противников; они вели бы против нас, угнетателей, ту битву освобождения, какую мы сегодня ведем против них.

Путем к свободе и миру между народами это бы не было. Указать его не трудно; труднее пойти по нему. Все народы, которые действительно полны решимости не склоняться перед пока еще русско-английским, но под конец *либо* русским, *либо* английским мировым господством, должны были бы тесно сплотиться для защиты и противодействия. Если народы так близоруки, что не могут постигнуть эту необходимость, так малодушны, что не желают за ближайшими преимуществами и ближайшими мелкими опасностями рассмотреть большую, всеобщую опасность — лишь на первый взгляд кажущуюся отдаленной, а на деле уже грозящую, — то им впоследствии нечего будет удивляться тому, что эта война станет только началом долгого ряда все более ужасных войн, в которых погибнет наконец все человечество. Неужели они думают, что если падем мы, то в мире найдется еще какая-то сила, способная противостоять нашим победителям? Что тем государствам, которые с равнодушием или злорадством смотрели на наше уничтожение, останется тогда какой-либо другой выбор кроме выбора между двух властителей: которому из них они будут оказывать военную помощь, чтобы помочь ему завершить завоевание мира, а в качестве награды за помощь — самим сделаться рабами?

Насущнейшая из всех потребностей, потребность самосохранения должна была бы велеть всякому народу, который еще вообще обладает энергией жизненной воли, — со всей решимостью ступить на путь совместного освобождения. <...>

(пер. с нем. яз. и примеч. Г. Е. Потаповой)

Примечания

Первые опубликовано: Paul Natorp. Vom Beruf des Deutschen // Die Tat. 1915. Bd. 7. S. 2–13). Статья вошла в книгу: Paul Natorp. Der Tag des Deutschen. Hagen i. W., 1915. Переведена по современному воспроизведению в томе: Paul Natorp. Der Tag des Deutschen. Krieg und Friede: Kriegsaufsätze. Leipzig, 2010. S. 65–78. (Philosophie und Erster Weltkrieg; Bd. 2).

Пауль Герхард Наторп (1854–1924) — немецкий философ, педагог; один из виднейших представителей марбургской школы неокантианства. Свой вышедший в 1915 г. сборник публицистических статей, опубликованных ранее в периодических изданиях, Наторп озаглавил восходящей к Ф. Шиллеру формулой «День немца» (из неоконченного стихотворения «Deutsche Größe» [«Немецкое величие»], 1801; подразумевается то будущее, в котором Германия должна наконец сказать свое слово в мировой истории). Говоря о реальностях Первой мировой войны, Наторп развивает следующую систему взглядов: усиление Германии во второй половине XIX и начале XX века привело немецкую нацию к неизбежному конфликту с другими мировыми силами по той причине, что Германия слишком поздно явилась к тому «разделу Земли», который уже раньше состоялся между мировыми державами; Англия, Франция и Россия не были готовы уступить немцам часть своей «добычи» и постоянно усиливали свое давление на Германию, чтобы сдержать ее. Немцы, по Наторпу, имели полное право прибегнуть к «насилию против насилия» и объявить «войну войне».

Через год после выхода сборника «День немца» Наторп издал отдельной книгой также свои несколько более поздние статьи, печатавшиеся в журнале «Der Kunstwart» в 1915–1916 гг.: Paul Natorp. Krieg und Friede. München, 1916.

[1] Отсылка к строкам «Фауста» Гете (2-я часть, д. V, сцена 6): «Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой» (пер. Н. А. Холодковского).